



## ЖАБЬЯ ЖИЗНЬ

### I

Я пробирался волчьими тропами в поморский скит, заброшенный радетелями к самому сердцу Алтая.

На последней заимке, провожая меня утром, хозяин говорил:

— Ты помешкал бы, приятель. Вот, гляди-гляди, Егоровски поедут лес сочить. Хошь до Резвой речки по пути. А ну, как заблудишь, приятель?..

— Спасибо, дедушка! Авось не пропаду.

Он стоял на высоком крыльце босиком и без шапки, заложивши руки за крученный пояс.

— Ну, мотри... Только штобы...

Его голос потерялся в бойком рокоте речушки.

Уже полдень. Горы подступают все плотнее. Черные, угрюмые леса одели их по склонам. Зеленовато-голубой волной идет река по каменным ущелинам. Стремительно бросается она на мокрые стены утесов и, отраженная, в безумной ярости несет белую пену, а за поворотом мчится гладкой зыбью, отражая красоту лесов и неба, чтобы снова в узком коридоре звонким жемчугом засыпать с гор скатившиеся валуны.

Едва приметная тропинка извивается по берегу, порой

спускаясь в воду или поднимаясь на приречный утес. Лошадь четко сечет камень острыми подковами. Она внимательна и осторожна. Мелкие речушки, вырываясь к ложу царицы-реки, шумными каскадами встают пам на дороге. Соловко каждый раз тревожно наклоняет голову к воде, выразительно фыркает и вдруг, решившись, бросается в студеную струю. Вода хлещет его в бок и толкает, а он, боязливо шарахаясь на скользких кругляшах, уже видит начало тропинки на том берегу и прибавляет шагу. Выйдя на берег, встряхнется, оборвет зубами пару веток с ближнего куста, и — дальше.

Солнышко, теряясь в гуще леса, радуется теплом и светом лишь на россыпях. Вершины россыпей углом уходят вверх. Когда посмотришь издали, то кажется, что из горы течет серая вязкая грязь. Она веером раскинулась по склону, под корень скосила лес. Гигантский веер нижней гранью падает к воде. Тут тропинки уже нет. Соловко выламывает ноги на ползучих острых камнях, поминутно спотыкается, косит глазами вправо, на реку.

Вот опять суровый бом упрямо пялит в реку свою каменную грудь, встает ей на пути, несокрушимый, неприступный. Дорога замирает у воды. Решиться? Нет! Может быть, в низкую воду здесь и проезжают как-нибудь... Я, только что огибая притор, был на волосок от участи попасть с бушующей волной на середину реки. Другая тропинка поднимается круто на бом. Выбираю ее. Она лепится по глыбам гранита, виснет над самой рекой. Голову нехорошо обносит. Грозными зарницами мелькают мысли: «Сорваться... на острые камни... потом в воду...».

Откуда-то неясно долетают голоса, и сейчас же раздастся властный окрик:

— Держи! Крепи! Держи решно!

Из-за притора вылетает плот. На нем двое мужиков. Они в одних рубахах. Видимо, на случай, если расколотит на порогах. Смотрю растерянно, как зыбает толстые бревна, а плот — уже мимо. Меня заметили, и тот, что с черной бородой, у заднего весла, кричит:

— Рекой-то рази глыбка-а?

Пока собираюсь ответить, плот относит. Мужик, не переставая отгребаться, надсажается:

— Держи левя-я, левя-я, левя-я... на камень!..

Плот скрывается за поворотом.

Неожиданно через тропу ложится глыба серого грани-

та. Она гладкая, скользкая. Уже совсем хочу ее объехать начинающейся доссыпью, но вспоминаю недавний совет. Соловко храпит и пробует копытом камень, потом решительно закидывает ноги. Подковы срываются. Мгновенье мы оба висим над обрывом. Животный страх бросает в пот. Но Соловко, сгибаясь под тяжелой кладью, невероятно быстрыми прыжками поднимается на верхнюю площадку. Мы живем! Там, за камнем, дорожка спокойно уходит через лес пологой мякотью.

Оправляясь в седле, я смотрю под утес, и сердце стынет в ужасе. Даже если бы крутая россыпь не снесла нас в реку, мы, пройдя ее, попали бы в глубокий каменный мешок.

Спасибо Черной Бороде!

Тропинка мягкая, но следу нет. Она упрямо поднимается на вершину. Лес густой-густой, еще не знающий железа. Деревья изживают век и падают, где выросли. Их длинные тяжелые стволы лежат колодами то тут, то там. Солнце еле пробивает ажур зелени. Лицом поминутно разрываешь липкую невидимую паутину. Внизу, под деревьями, сыро. Густо пахнет землей.

Наконец, поднялись на седло. И почти сейчас же — спуск. Дорожка смело опрокидывается, ведет зигзагами все через лес, куда-то вниз, к неведомому, жутко интересному.

Я заблудился. В этом уже нет сомнения. Приметы все пропали. А ведь как красноречиво, обстоятельно рассказывал мне дедушка Степан!

На косогоре лес растаял. Не любит он южных уклонов. Сказочно глубокой далью синее тесное ущелье. Нитью серебра легла по дну его, еще неслышная, речонка. Из-за груди откоса, прямо под ногами, чуть сереет крыша. Люди и здесь! Соловку тяжело. Один-другой неловкий шаг — и мы свернемся, полетим через колючие кусты. Внизу, в зеленых копнах тополей, все резче выступает домик...

Когда, скатившись под гору, я миновал речушку и подъехал к домику, меня встретил диким лаем свирепый белый пес. Лезет к лошади, старается схватить ее за ноздри, а на взмах нагайки отвечает волчьим воем. Соловко, досадно удивленный, топчется на куче мусора, шаг за шагом отступая к бане. Я ищу глазами по двум крохотным оконцам одряхлевшей избы. Никого! Но вот стукнула защелка, и на подгнившем низеньком крылечке показа-

лась женщина. Подъезжаю ближе. Она шурит глаза, и нельзя понять, старость или солнце нагнали на лицо морщины.

— Здорово живете! — стараюсь я перекричать собаку.

Женщина окидывает жадным взглядом лошадь и меня.

— Здорово живешь... Заезжать, ли чо ли, будешь?

— Надо бы.

— Дак заезжай.

— А эта заимка — Захаровских?

Она смотрит удивленно и растерянно.

— Пошто так? Мы Мирошински.

— У Степана Васильича мне говорили, что Захаровы на Резвой речке.

Она улыбается, ковыряя пальцем под шешмурой.

— Сказывали правильно, а только здесь до Резвой далеко, за белок тебе надо. У нас Шумишка пробегает. На всей Шумишке мы одни, Мирошински... Да цыть ты, окаянная! — неожиданно взвизгнула баба, притопывая пяткой. — Будь ты трою-трижды на семи соборах проклята!

Она проворно подхватила с полу какой-то обрубок и с плеча запустила в собаку. Та перекинула пушистый хвост под брюхо и, боязливо озираясь, ускакала в кусты. А баба уже потеряла тихую улыбку. Отгоняя от крыльца теленка, она тянет раздражительно:

— У нас, как ежли человек заедет, только и знаем, что за горло взять... Одичали... Чисто звери... Жизнь, ты жизнь!..

Настроение хозяйки не манило приветом и лаской. Но я уже расседлывал лошадь и прибирал поклажу.

— Мужиков нет дома?

Баба помолчала и нахмурилась.

— В избе старик-от, а Мирон за телкой где-то утянулся. Ты не стрел его?

— Нет.

Она вздохнула и ушла.

Солнце опустилось за большой горой. Ущелье тесное, сырое. Только кинули тень крутые гребни, как на дне его уже пахло сыростью. Кругом мочажник. Лишь заимочка стоит на небольшом пригорке. Ни плетня, ни прясла. Изба покрыта на два ската необрезанным тесом, а под крышей, из конца в конец — пролет. Холодно, бедно и неуютно.

Соловко готовится вздремнуть. Привязанный к стол-

бику, он расставляет ноги, шумно встряхивается и широко зевает свободным от железа ртом.

## II

За окном уже вечер. В низкой и тесной избе полумрак. Печка пышет жаром. Пахнет кислым хлебом и чем-то тупо-сладким, от чего мутит под ложечкой.

Дедушка Семен сидит на голбце у печи. Он в длинной-длинной белой рубахе и белых штанах. Лицо у него сухое, кроткое. Глаза тихие, умные. Седая борода и жидкие пучки волос на голове опрятно прибраны. Весь он такой чистый, хороший. Живет с ясной душой, готовый умереть, когда случится.

С детским любопытством наблюдая за раскладкой багажа, он долго смотрит на красивый черный ящик, наконец, протягивает восковую руку и берет его. Нечаянный нажим — и аппарат со звоном раскрывается, показывая полированную внутренность. Ящик падает в колени. Дед смеется виновато и растерянно.

— Изломал, кажись?

— Ничего! Хорошо, что не на пол.

Подает мне аппарат дрожащими руками.

— Штука-то, ишь она какая... не бывало у рук-то... Сказывают, будто этими, как их, землю обмеряют... С деревни ланись наезжал народ, так все болтали, што с заимок нас погонют.

А сам щупает меня глазами. «Не из тех ли, мол, милый?» Но спросить боится.

Я успокаиваю деда. А он все так же виновато улыбается.

— Не дослышу, милый, не дослышу.

— Кого там не дослышю, — вздыхает баба: — совсем окреп ушами. Хошь в барабанты бей — не мигнет.

Она оживилась и хлопочет без устали.

— То-то, смотрю я, кто, мол, это. Ровно бы одежда наша, да опять, без бороды. В этом месте ежли кто из деревень покажется, так до краю надивуешься. Заблудящий рази кто наедет. Пра-аво.

Дедушка перебивает:

— Тебе, милый, может, похлебать чего бы? Катерина! А?

— Ну уж, где им нашего! Не станут. Вот уже утре испеку блинов. Только мука-то у нас—слава одна, что мука, а испекешь, так из души воротит. Ланшшный хлеб-то.

— Плохой родился?

— Кого там! Испрогибное што ни есть местишко. Овошь не родится, не то што. Кругом мочажина, изморось, туман. Хлеб-то из деревни возим на вьюках. Греху одного сколь, пока дотянешь.

Катерина вскипятила чайник. Сизо-черный от смолистой копоти, он даже на столе сердито хлюпает под крышкой и стреляет паром через круто выгнутый носок...

Стол накрыт серой запачканной холстиной. На холстине — треснувшая чашка, горка длинных, ноздреватых ломтей хлеба и деревянное корытце с сотами.

Катерина извиняется:

— Чай-то, поди, свой заварите? У нас и нет его. Пьем бадан да всяки травки. Так, абы пахло да покруче напревало.

В ее голосе звучит насмешка, хотя лицо такое грустное, серьезное. Баба она видная, пожалуй, молодая, но жизнь твердой рукой провела по лицу, исказила его. Катерина говорит, говорит, а глаза беспокойно шныряют. Кажется, что каждую минуту она ждет кого-то, кто-то вспугивает ее душу.

— Тоже видела, как люди-то живут. Шестой год на этих местах, а до того все по стряпкам служила, у господ, в Семипалатном. Все, бывало, по-людски, не как-нибудь. Изготовить ли чего, подать ли... Не то што... Чо это? Как попала? А так уж вышло оно. На разнесчастную мою голову. Жила я, значит, у священника, отца Ксенофонта. Вот хороший был батюшка! Да вы, поди, знаете его? Нет? Хороший человек, обходительной. И Мирон-то в те поры лесом занимался, сплавлял, ну и, значит, как в городе, сейчас бате меду бадейку. Не жалел, тот уважал хорошо. Мирон-то и сманил костяную дуру. То и то тебе будет. Дескать, ничего, што вдовый. Детей нету, а заимка, пасека, хозяйство. Пошла на своды. Венца у них нету...

— Чаю выпьешь со мной?

Она обрывает рассказ, благодарно улыбается и отходит к печке, где садится на узкую лавку, подпирая щеку кулаком.

— На здоровье кушайте с дороги-то. Пожалуйте с медком, послаще.

— Свой?

— Да вот дедушка добыл. За мысиком тут пасечка. Ране, сказывают, у него стояло сот помного, на Громотушке-речке. Теперь уж где ему! До десятку роев доржит. Мирон — тот не охочий. Прахом все пустил.

— Подсаживайся!

Она нерешительно бросает взгляд то на меня, то в угол печки, за которым вздыхает старик, и тянет руку к шапчику.

— Рази чашечку.

Катерина воровски, заслоняя собой стол от старика, наливает чаю и устраивается опять на лавке. Пьет она с мирным, довольным лицом, пьет чашку за чашкой. А дедушка Семен совсем задремал—приморился на пасеке—но все видит и все слышит, старый, душой понимает.

Мухи липнут к столу, роями носятся над головой, мелькают точками по серым стеклам.

Катерина вытирает фартуком лицо.

— С год, однако, не пила. Все бадан да блошница. Трава—она трава и есть. Ни скусу, ни питанья... Вера такая у них, — кивает она на угол. — Ни боже мой, ни чаю, ничего. Чашешны они. У каждого своя посудина. Как смешались — надо очищаться. На петимью друг дружку ставят... Какой веры? — она безнадежно махает рукой. — Теперь и сам господь не даст толку, какой они веры. Всяки тут есть. На Громотушке все больше федосеевщины держатся. Старик-то оттуда. Тоже феоодосевской, не отстает. А Мирон — тот дырник. Э-эвон дырка в стене, подрушничком заткнута. Так на разно и молятся... Приехал, слышь, на Громотушку исхимник какой-то, Так, из виду маленькой, сухонькой, а заговорит, заговорит — отколь чего берется. Сам наговаривает, а сам головкой этак, головкой этак. Сомустил народу страсть. Вот с того на Шумишке третий год болтаемся. Подобрали избу. От Климушки, покойника. Потянул Мирон-то. На миру ему людно, не по ндраву стало... Исхимник этот, — не найдя слов, ударила рукой по лавке, — будь он трою-трижды на семи соборах! Нету на них здесь... Шляются кажинный год...

Помолчавши, продолжает таинственным шепотом:

— Утесняют ни на милость божью. Перво-то ниче себе жили, а теперь склоняют в свою веру. Старик-от, не гляди, што тихонькой, мутит шибко. Сколь разов уж на собор вызывали. Там, под Малым Теремком, у Пахомовских со-

бираются наставники, дела решают. Вызовут это, и почнут склонять. Не хочу, мол, по-вашему, а они свое. Дескать, как знаешь, а только нельзя ему с тобой в разных обрядах, разведем. Тот и почнет укорять...

Катерина поднимает фартук к носу и начинает всхлипывать:

— Места нет живого... Руки, ноги выломаны...

За стеной, на крыльце раздаются шаги. Катерина быстро утирает нос и, испуганно вскочивши, прячет чашку.

— Видно, обернулся.

Мирон входит, оставляя дверь не запертой. Сутулый, весь как скованный, в плечах широкий. Лицо до глаз заросло курчавой черной бородой. Метнул глазами на меня, повесил шапку у двери и, не кланяясь, здоровается.

Чувствую себя так скверно, словно он застал меня на нехорошем деле.

— Нечаянно заехал, заблудился.

Мирон молчит. Сел на лавку гостем и осматривает с головы до ног.

— На Убу здесь можно выехать?

— А пошто нельзя? Кругом дороги. Хошь слепой доедешь.

Он опять молчит.

— Сыскал теленка? — осторожно спрашивается баба.

Мирон отвечает не сразу и не глядя на нее.

Долго неловко молчим. Но Мирон учуял что-то носом и с злорадным лицом, поглядывая на меня, на чайник, пробирается за печку. Он шарит там по полочкам. Нашел чашку с недопитым чаем, понюхал и, обернувшись, бросил ее на пол. Чашка брызнула осколками.

Катерина обмерла, стоит у печки.

— Сука каторжная!..

Мирон остановился перед ней с потемневшим лицом.

— Постыдись хошь людей! — истерично вскрикивает

Катерина. Мирон зловеще наседает:

— Я доколь с тобой маяться буду? Без того поганьше пса, дык нет, — ишшо посуду пакостит. У-у-у ты!

Катерина ежится, готовая принять удар. Но Мирон отвертывается.

— Ппшел доить! — орет он.

Сам не может найти места, бегаёт, обваривает злыми темными глазами.

— Ты, приятель, как тебя, какого ты звания... Не ладно



это! Пошто нечисть в дом заносишь.. Энту халду мутишь... Ей вашего брата—подай.

Пытаюсь оправдаться.

— Ппшел доить!..

Катерина, собираясь, всхлипывает и никак не находит чего-то.

Наконец, собралась и, словно вырвавшись, бросается в сенцы. Выйдя, она хлопает дверью так, что вздрагивают стены.

— Жжабья жизнь, — слышен ее голос за окном.

Дедушка Семен встает с кряхтеньем, идет к лавке и шевелит там смоленые ремни.

— Узду-то подшил бы... А? Подшил бы, говорю.

Мирон молчит.

### III

Глухая ночь накрыла избу.

На краю стола в широкой плоске плавится свеча. Светильня загнулась, повисла и горит торопливо-мигающим красным огнем. Я лежу на полу, на пахучей зеленой траве, покрыв ее тонким одеялом. Тело отдыхает. Только тут пришла усталость, и кажется тяжелым сном забытая людьми тропинка, лес, под'емы, кручи — вся поездка.

Катерина завалилась к стенке на высоких нарах и притихла.

Мирон все еще на улице — слышно, как за речкой окликают лошадей.

Дед кряхтит на печи.

— Житье было раздольное, — скрипит он, продолжая прерванный рассказ. — Из деревни што есть заезжать боялись. Зверя было вдосталь, меду хорошо водилось, ну и жили... Все избушками, избушками, подальше один от другого. На деревню ни-ни, не кажись! Ежли надо шибко, так скрадкой, по зарянке, притянешь к дружку, а он и того — схоронит...

Катерина вкрадчиво перебивает:

— Вы не спите, што ли?

— Нет.

— Вот я чо спрощу вас... Как там?.. Ежли выдти на Медведиху... До городу через каки деревни будет?

— Зачем тебе через Медведиху?

— Много дальше? Ну, я так... Сказывали только, будто можно.

Я говорю ей все, что знаю, про этот дикий, длинный путь. Мелькает мысль, такая смелая, живая, и удивляешься, как просто и легко иногда можно устроиться.

А дедушка ведет свое:

— Ну, и стали, значит, наезжать пикетные. Как кусты оденутся, они и потянули. Туды, суды по сопкам шарют... Который оплошал, сердешный, того и сцапали... По начальству его... Ко мне этак же... О-ё-ё-ё!.. — неловко повернувшись, стонет он: — У-у-ё-ё-ё!.. Прости нас, царица небесная. Господи, Иисусе Христе сыне божий!.. Наткнулись на меня. Я, это, стою позадь избы в кусточках и вижу — по долине люди. Ну, я не сробел, окошко вышиб, захватил в избе ружьишко да топор, да еще там что попало и метнулся в сопки...

Пришел Мирон. Я притворился спящим. Он походил по избе, украдкой взглянул на меня, разложил по шестку насквозь промоченные сапоги и босиком, в широкой, распоясанной рубахе, стоит над свечкой, поцарапываясь. Лицо у него все такое же строгое, но пробежала по нему какая-то дума, округлила, согнала все жесткое. Перед тем как ложиться, мы с Мироном долго говорили, и теперь он мне не кажется таким, какой пришел из сопки. А понять его я не могу. Не пускает в душу. Она мне представляется — его душа — такой же, как и эта заимочка: глухая, скрытая от посторонних глаз, и ведут в нее тайные тропки через таежные лазы, через кручи и бурные реки. Есть ли кто-нибудь, кому Мирон покажет эти тропки? От меня схоронился, запутал, отвел.

— У Савелия четыре девки было... дочери... — не унижается старик, — так он, однако, разов двадцать, а то и более переменял места-то!..

Мирон морщится, идет к печи и, ставши на голбец, легонько дергает Семена за подол рубахи.

— Будте, тятя! Кому наговариваешь? Он спит.

— А ну, я ничего... Любопытно ему про житье-то, про прежнее... спит, ли чо ли?.. С необыку, видно, приморило... Ой-ё-ё-ё!

Тяжело ступая широкими мозолистыми пятками, Мирон подходит к свечке, смотрит на меня и задумает. Све-

тильня тлеет красной звездочкой и сейчас же с треском тухнет под слянявым пальцем. Мухи звонким, густым шумом наполняют избу, долго тыкаясь по стенам.

На глаза ложится тьма, тяжелая, без искорки. Чуть закроешь веки — поплывут круги. Они уходят, разрастаясь, путаются, тонут в черной пустоте. И вдруг яркой акварелью встанет красный угловатый камень, а под ним на сочной зелени рисуется малиновая земляника. Или огненным пятном зареяют, запестрят пахучие жарки-цветы, да так, что слеза прошибет. Мутными, но резко вычерченными квадратами светлеют окна: глаза пригляделись.

Мирон шарашится, поскрипывая половицей. Что он не ложится?

Опять цветы, деревья, ягоды и целые леса... Накачало в седле — теперь зыбают и кружат голову. Перед глазами — залитая солнцем падь...

Я испуганно вздрогнул. Кто-то молится прерывистым шепотом. Разве дед со сна? Но нет, он мирно спит и тонко, отрывисто посвистывает носом. Вглядываюсь, вслушиваюсь. Это молится Мирон перед своей дырой. Какое у него теперь лицо и какие глаза? Не видит ли он сквозь дыру все то, что скрыто для других? Может быть, там, за стеной, перед ним стоит великая, святая истина...

—О-ох! — вздыхает Катерина.

«Жабья жизнь!» Странно жуткое слово. Жабья! Да, их много тут в болоте. Серые, грузные.

Мысли мелькают обрывками.

Коня поил... Стою на кочке, держа повод в руках, и люблюсь, как глотает Соловко, а под ногой у него что-то хлопает. Жаба! Глубоко вдавил ее копытом в грязь, она выпучила круглые глаза и трепещет передними лапками, туго надувая зоб...

Как дорога на Медведиху? Мне почему-то кажется, что Катерина сейчас думает об этом. Вспоминаю все деревни, хутора и займки, по которым ей идти.

Мирон все молится. А за стеной не умолкает речка. Словно в пустую посудину где-то круто-круто падает она с камней на камни и никак не может вылиться. В мочажинах тыркает дергач. Сыро там, темно и холодно.

Лишь ввѣрху, высоко над горами, приютившими у ног своих едва приметную заимку, блещет миллионами святых огней недостижимое небо. Слышит ли гордое небо слова Мироновой молитвы, видит ли оно, как умирает на болоте жаба?

